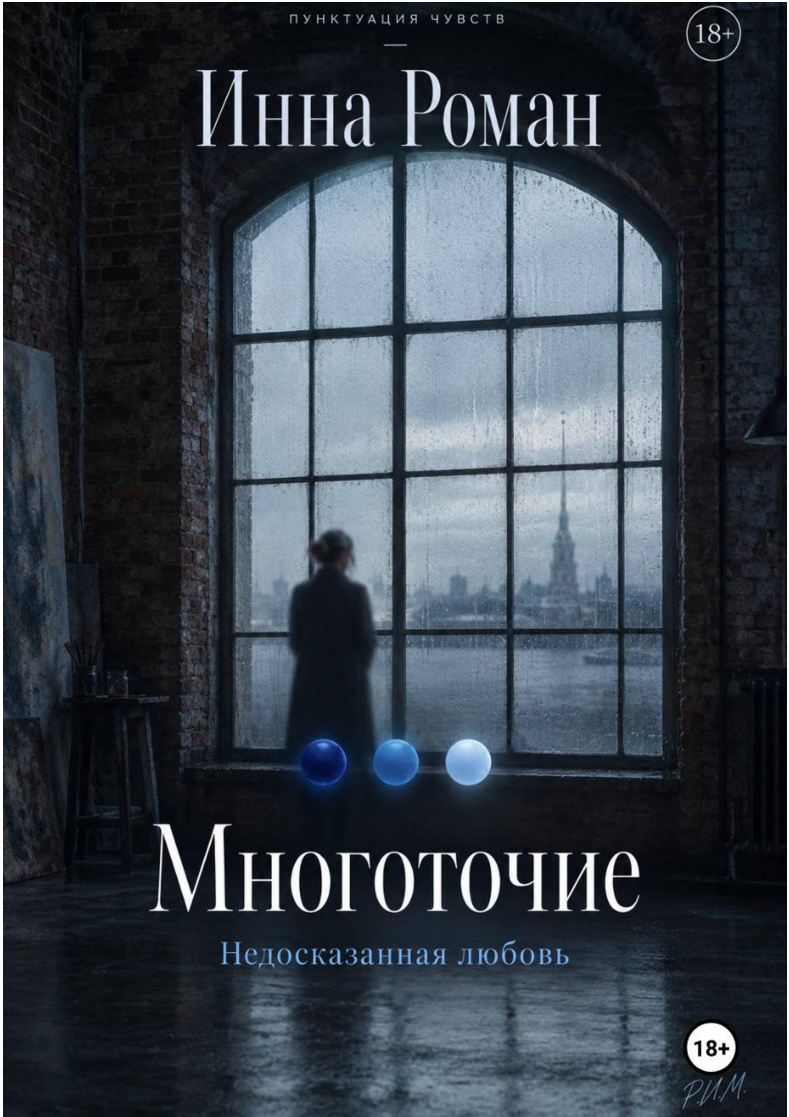

ПУНКТУАЦИЯ ЧУВСТВ
18+
Инна Роман
Многоточие
Недосказанная любовь
18+
Р.И.М.

Инна Роман

Многоточие. Недосказанная любовь

https://litres.ru/74706214
SelfPub; 2026

Аннотация

Они изменили друг другу в один вечер. Два телефона, два уведомления — и тринадцать лет любви рухнули за минуту. Он уехал, не сказав правды. Она осталась, не сказав, что ждала его в аэропорту три часа с сумкой.

Три года спустя Макс возвращается в Питер — архитектором её выставки. Аня вынуждена работать с человеком, который её бросил, и делать вид, что ничего не было. Но между ними всё ещё живёт то, что они пытались похоронить: недосказанность, старые раны и ток, который невозможно не чувствовать.

Она боится, что он снова уйдёт. Он боится, что не умеет оставаться. И обоим придётся решить: готовы ли они сказать друг другу правду — или снова промолчат, поставив в конце главы многоточие...

Вторая книга цикла «Пунктуация чувств». Каждая книга — законченная история любви. Каждая глава заканчивается своим знаком препинания. Ищите пасхалки — и находите.

Содержание

Часть I. «Пауза» 5
Глава 1. Три года 5
Глава 2. Неотправленное 26
Глава 3. Из-за стойки 35
Глава 4. Концепция 42
Глава 5. Перстень 52
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Инна Роман
Многоточие. Недосказанная любовь

Часть I. «Пауза»

Глава 1. Три года

Краска не хотела ложиться ровно.

Я водила кистью по стене галереи, и лиловый цвет ложился полосами — неровно и упрямо, как плохое настроение. За окном сентябрьский Питер моросил мелкой водяной пылью, и свет, проникающий сквозь высокие окна бывшего цеха, был серым, как небо над Невой в четыре часа дня.

Я отступила на шаг, прищурилась.

— Ну и гадость, — сказала я вслух.

— Ты всегда разговариваешь со стенами?

Я обернулась. В дверях галереи стояла Лера Крылова — идеальная укладка, красная помада, блокнот под мышкой. Она работала редактором в издательстве, которое арендовало коворкинг на втором этаже «Тире», и иногда заходила ко мне — не столько за кофе, сколько за порцией сарказма.

— Только когда стены меня не слушают, — ответила я, вытирая кисть о тряпку. — Что ты здесь делаешь? У тебя же дедлайн.

— У меня всегда дедлайн. — Лера прошла вглубь галереи, цокая каблуками по бетонному полу. — Я пришла сказать, что твой новый архитектор уже приехал. Марина видела его

в «Абзаце». Говорит, симпатичный.

— Плевать.

— Ты даже не спросила, как его зовут.

— Мне не интересно.

Лера подняла бровь, но промолчала. Она знала меня слишком хорошо, чтобы поверить в равнодушие. Я вернулась к стене, делая вид, что лиловый цвет — самое важное, что происходит в моей жизни.

Выставка открывалась через две недели. «Точки опоры» — так я назвала проект. Пять молодых художников, пять историй о том, за что люди держатся, когда всё рушится. Я была куратором и иллюстратором — и мне нужен был архитектор, который спроектирует выставочное пространство. Лера нашла его через свои связи. Я не спрашивала, кто он. Мне было всё равно.

Почти.

— Аня. — Лера подошла ближе. — Ты уверена, что хочешь это делать?

— Что именно?

— Выставку. Ты не спала неделю. Ты не ешь. Ты только рисуешь и красишь стены.

— Это называется работа.

— Это называется бегство.

Я обернулась. Лера смотрела на меня — без иронии, без сарказма. Просто смотрела.

— Я в порядке, — сказала я.

— Я знаю, что ты в порядке. Я спрашиваю, счастлива ли ты.

Я хотела ответить что-то колкое. Но не смогла. Потому что она попала в цель. Она всегда попадала в цель.

— Мне нужно закончить стену, — сказала я.

Лера вздохнула. Подошла к стене, потрогала её пальцем. На подушечке остался лиловый мазок.

— Знаешь, что я думаю? — сказала она.

— Что?

— Я думаю, что ты красишь эту стену уже третий день. И она всё ещё не готова. Не потому что краска плохая. А потому что ты не хочешь заканчивать. Потому что пока ты красишь — ты не думаешь.

Я молчала.

— Аня. — Лера вытерла палец салфеткой. — Я не буду читать тебе морали. Я просто хочу, чтобы ты знала: я здесь. Если что.

— Я знаю.

— Хорошо.

Она ушла. Каблуки цокали по лестнице. Я осталась одна — со стеной, с краской, с лиловым цветом, который не хотел ложиться ровно.

Через полчаса в галерею спустилась Инга Аркадьевна.

Она всегда спускалась так — без предупреждения, без стука, как будто стены сами расступались перед ней. Высокая, седая, в тёмно-синем костюме, который стоил больше,

чем моя студия за год. Она остановилась в дверях, посмотрела на стену, на меня, на банки с краской.

— Анна. — Голос ровный, как линейка. — У вас есть десять минут?

— Конечно.

Я вытерла руки о фартук. Мы поднялись в её кабинет — маленькую комнату на третьем этаже, с видом на Неву. Она села за стол. Я осталась стоять — она никогда не предлагала сесть.

— Как продвигается? — спросила она.

— Хорошо. Стены готовы на две трети.

— На две трети. — Она помолчала. — Открытие через две недели.

— Я помню.

— Я не сомневаюсь. — Она достала из ящика папку. Открыла. — Грант комиссия рассматривает в тот же день. Если проект не готов — комиссия не рассматривает проект. Если комиссия не рассматривает проект — я не продлеваю аренду студии. Это не угроза, Анна. Это календарь.

— Я понимаю.

— И ещё. — Она подняла глаза. — Севастьянова подала заявку на тот же грант. С той же концепцией. «Точки опоры». У неё другие художники, но название — то же.

У меня похолодели пальцы.

— Что?

— Вы разошлись во времени. Она подала на неделю поз-

же. Но если её проект будет готов раньше — комиссия может выбрать её. — Инга Аркадьевна закрыла папку. — Я бы на вашем месте не красила стены. Я бы их уже покрасила.

— Я поняла.

— Хорошо. — Она кивнула. — И ещё одно. Комиссия будет смотреть не только на готовность. Она будет смотреть на концепцию. На то, как вы работаете с художниками. На то, есть ли у вас... — она поискала слово, — ...команда. Не просто пять имён в списке. Живые люди. С которыми вы говорите. Которых вы знаете.

— У меня есть команда.

— Тогда покажите её. — Она встала. — Через неделю я хочу видеть не только стены. Я хочу видеть, что вы работаете с людьми. Что они вам доверяют. Что они готовы идти за вами.

Она открыла дверь. Это был знак.

Я вышла. В коридоре прислонилась к стене. Руки дрожали.

Рита Севастьянова. Куратор, которая два года назад увела у меня заказ на оформление ресторана. Потом — заказ на иллюстрации для сборника. Потом — ещё один. Она не была злой. Она была просто быстрее. И всегда на шаг впереди.

Значит, теперь она хочет мой грант.

Я вернулась в галерею. Посмотрела на стену. На лиловые полосы. На кривые мазки.

Две недели. Севастьянова. Грант. Студия. Команда.

Я бросила кисть в банку. Взяла телефон. Написала Лере: «Спасибо за визит».

Она ответила через секунду: «Всегда».

Днём я поехала к художникам.

Это было не запланировано. Но после разговора с Ингой я поняла: она права. Я работала с именами, а не с людьми. Пора было это менять.

Первой была Катя.

Катя Мороз — фотограф. Двадцать шесть лет. Жила на Васильевском, в маленькой квартире с видом на Финский залив. Когда я пришла, она сидела на полу среди разбросанных фотографий — чёрно-белых, зернистых, снятых на плёнку.

— Аня? — Она подняла голову. — Ты чего?

— Пришла посмотреть.

— На что?

— На тебя. На твои работы. На то, что ты делаешь.

Она смотрела на меня секунду. Потом улыбнулась — широко, по-детски.

— Тогда садись. Тут много.

Я села на пол. Она начала показывать. Фотографии были о том, за что люди держатся. Руки. Много рук. Старые, молодые, детские. Руки, которые держат друг друга. Руки, которые держат вещи. Руки, которые держатся за воздух.

— Это моя бабушка, — сказала она, показывая на снимок. — За день до смерти. Она держала мою руку.

Я смотрела на фотографию. На морщинистые пальцы. На

тонкую детскую ладонь. На то, как они переплелись.

— Это гениально, — сказала я.

— Это жизнь, — сказала она.

— Как ты это снимаешь? — спросила я. — Люди же не позируют.

— Они не знают, что я снимаю. — Она пожала плечами. — Я просто... вижу. Вот женщина в метро держит сумку — и вцепилась в неё так, будто там всё, что у неё есть. Вот мужчина на набережной держит сигарету — и руки трясутся. Вот ребёнок держит маму за палец — и не отпускает.

— И ты снимаешь.

— И я снимаю. — Она кивнула. — Потому что это правда. А правда важнее, чем красиво.

Мы просидели ещё час. Она рассказывала о каждой фотографии. Я слушала. И понимала: Инга права. Это не имена в списке. Это люди.

— Аня, — сказала она, когда я уже собиралась уходить. — Спасибо, что пришла.

— За что?

— За то, что спросила. Не просто «пришлите работы». А пришла. Посмотрела. Услышала.

— Это моя работа.

— Это не работа. Это... — она поискала слово. — Это уважение. Спасибо.

Я вышла от неё с чувством, которое не могла назвать. Что-то тёплое. Что-то, что было больше, чем работа.

Вторым был Илья.

Илья Ветров — скульптор. Тридцать два. Мастерская в подвале на Обводном. Когда я вошла, он стоял у глиняной фигуры — высокой, изогнутой, с пустотой внутри.

— Аня, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты вовремя.

— Почему?

— Потому что я хотел тебе показать. — Он показал на фигуру. — Вот. Это «Точка опоры». Для твоей выставки.

Я подошла ближе. Фигура была странной — не человек, не предмет. Что-то среднее. Но в ней была сила. И пустота. И что-то ещё — что-то, что держало.

— Она пустая внутри, — сказала я.

— Да. — Он кивнул. — Потому что опора — это не то, что снаружи. Это то, что внутри. И иногда там пусто. И это нормально.

Я смотрела на фигуру. Долго.

— Мне нравится, — сказала я.

— Я знал. — Он улыбнулся. — Ты всегда видишь то, что я хочу сказать.

— А ты всегда говоришь загадками.

— Это не загадки. Это... — он пожал плечами. — Это как с глиной. Пока не начнёшь лепить — не поймёшь.

Он показал мне мастерскую. Рассказал, как работает. Как находит глину. Как ждёт, когда она высохнет. Как обжигает. Как боится, что треснет.

— Ты боишься? — спросила я.

— Каждый раз. — Он кивнул. — Потому что никогда не знаешь, что получится. Может быть, шедевр. Может быть, кусок глины.

— И что ты делаешь?

— Продолжаю лепить. Потому что если остановлюсь — точно ничего не получится.

Я смотрела на него. И думала: может быть, это и есть ответ. На всё. Продолжать лепить. Даже когда страшно.

— Аня, — сказал он, когда я уже уходила. — Ты знаешь, что делаешь?

— Что?

— Ты собираешь людей. Не работы. Людей. Это редкость.

— Это моя работа.

— Это не работа. — Он покачал головой. — Это... — он поискал слово. — Это как с глиной. Ты лепишь не фигуру. Ты лепишь то, что внутри.

Я не знала, что сказать. Поэтому просто кивнула.

Третьей была Женя.

Женя Лебедева — художница. Двадцать девять. Работала в маленькой студии в «Тире» — по соседству с моей. Мы виделись каждый день, но никогда не говорили о работе. Только «привет» и «пока».

Когда я зашла, она сидела у мольберта. На холсте — море. Серое, тяжёлое, питерское.

— Женя.

Она обернулась.

— Аня? Ты чего?

— Пришла посмотреть.

— На что?

— На тебя.

Она смотрела на меня. Потом отложила кисть.

— Ладно. Смотри. — Она показала на холст. — Это моя «Точка опоры». Море. Потому что когда всё рушится — я иду к воде. Смотрю на неё. И понимаю: всё проходит. И это тоже пройдёт.

Я смотрела на море. На серые волны. На что-то, что было глубже, чем просто пейзаж.

— Это красиво, — сказала я.

— Это честно, — сказала она.

Она показала мне другие работы. Много моря. Разного. Спокойного. Штормового. Утреннего. Ночного.

— Ты всегда пишешь море? — спросила я.

— Нет. Иногда — небо. Иногда — дождь. Но всегда — что-то, что больше меня. Что-то, что не зависит от меня. Что-то, что просто есть.

— И это помогает?

— Иногда. — Она пожала плечами. — Не всегда. Но когда помогает — это лучшее чувство в мире.

Я стояла в её студии. Смотрела на море. И думала: может быть, и у меня есть такое. Что-то, что больше меня. Что-то, что просто есть.

— Аня, — сказала она. — Ты чего?

— Что?

— Ты смотришь на море так, будто ищешь там ответ.

— Может быть, ищу.

— Найдёшь, — сказала она. — Море всегда отвечает. Только не словами.

Вечером я вернулась в «Тире». Усталая. Но что-то изменилось. Я не просто знала имена — я знала людей. Их руки. Их море. Их пустоту.

Я спустилась в «Абзац» — за кофе. И когда стояла у стойки, услышала голос.

— Двойной эспрессо, пожалуйста. И, если можно, что-нибудь от головной боли.

Я узнала бы этот голос где угодно. Низкий, с лёгкой хрипотцой, с интонацией человека, который привык, что его слушают.

Пальцы похолодели. В груди — предательски теплеет. Я ненавижу своё тело за это.

— Аня?

Я обернулась.

Макс Соколов стоял в двух шагах от меня. Три года. Три года, и он всё ещё носил тот же шрам на брови — с детства, с пятого класса, когда упал с велосипеда, а я плакала больше, чем он. Тот же перстень с печаткой на правой руке — подарок отца. Тот же взгляд — внимательный, чуть виноватый.

Он был в тёмном пальто, с мокрыми от дождя волосами, и выглядел так, будто сошёл с обложки журнала, который я

ненавидела.

— Какого чёрта, — сказала я.

Марина за стойкой замерла с чашкой в руке. Её рыжие волосы были собраны в небрежный пучок, фартук с котами испачкан корицей. На доске меню за её спиной кто-то — кажется, Дима — приписал маркером новый напиток: «Вопрос. Латте с карамелью. Скоро». Я машинально отметила, что Марина ещё не ввела его в меню.

— Вы знакомы? — спросила Марина осторожно.

— Нет, — сказала я одновременно с Максом:

— Да.

Марина перевела взгляд с меня на него и обратно.

— Ладно, — сказала она. — Эспрессо. Двойной. Сейчас.

Она исчезла за кофемашиной с проворством человека, который понял, что лучше не присутствовать при этом разговоре.

— Аня, — начал Макс.

— Не надо.

— Я просто хотел сказать...

— Что? Что ты хотел сказать? — Я чувствовала, как краска приливает к лицу. — Ты уехал три года назад. Без звонка, без объяснений. И теперь появляешься в моём «Тире» и говоришь «Аня» так, будто мы старые друзья?

— В твоём «Тире»? — Он нахмурился. — Мне сказали, что я буду работать над выставкой. С куратором Анной Ветровой.

Кровь отлила от лица.

— Ты. Ты архитектор.

— Ты не знала.

— Я не знала.

Мы стояли друг напротив друга. Марина поставила на стойку эспрессо с такой осторожностью, будто это была бомба.

— Я могу отказаться, — сказал Макс тихо.

— Нет. — Я выпрямилась. — Не надо. Контракт уже подписан. Оба. Я не собираюсь менять свои планы из-за тебя.

Это была правда. Контракт с галереей я подписала месяц назад. Грант на выставку — единственный шанс сохранить студию, которую я арендовала в «Тире». Если проект провалится — я потеряю всё. И он тоже. Я знала, что он знает.

— Аня...

— Нет. — Я взяла свой латте с лавандой. — Работаем. Всё остальное — в прошлом.

Я развернулась и пошла к лестнице. Каблуков у меня не было — только кроссовки, разноцветные, с потёртыми носами. Те же, что были три года назад. Я поднималась по ступеням, чувствуя на спине его взгляд.

Только не он. Только не снова...

На втором этаже я закрылась в своей студии — маленькой комнате в углу галереи. Стены увешаны набросками, на полу — банки с кистями, на столе — скетчбук, открытый на середине.

Я села на стул, поставила латте и уставилась в стену.

Три года.

Мы познакомились в пятом классе. Он перевёлся в нашу школу посреди года — высокий, худой, с разбитой коленкой и слишком серьёзным взглядом для одиннадцатилетнего. Сел за парту передо мной и весь урок рисовал на полях тетради каких-то монстров — зубастых, с рогами, с хвостами. Я заглянула через плечо и сказала, что монстры у него получаются лучше, чем у учительницы по ИЗО. Он обернулся и улыбнулся. Первый раз. Та самая улыбка — уголками губ, чуть кривая, чуть застенчивая.

С тех пор мы были вместе. Не сразу — сначала друзья, потом лучшие друзья, потом — в десятом классе — что-то большее.

Я помню первый поцелуй. Крыша школы, поздний вечер, звёзды, которых в Питере почти не видно. Он стоял близко, смотрел на меня и молчал. Я сказала: «Ты чего?» Он сказал: «Ничего. Просто смотрю». А потом наклонился. И поцеловал. Неуклюже, неловко, как будто боялся, что я оттолкну. Я не оттолкнула.

Я помню первый медленный танец на выпускном. Играла песня, которую мы оба терпеть не могли — какая-то слащавая баллада про любовь навсегда. Но мы танцевали. Он держал меня за талию, я — за шею. И я думала: вот оно. Вот то, что бывает раз в жизни.

Я помню первый раз. Общага после поступления — его,

не моя, потому что у него была отдельная комната, а у меня — соседки. Мы тряслись от страха и смеялись над своей неловкостью. Он говорил: «Прости, я не знаю, что делать». Я говорила: «Я тоже». А потом мы просто были вместе. И это было... правильно.

Тринадцать лет. Тринадцать лет я знала его лучше, чем себя. Знала, как он пьёт кофе — без сахара, но с молоком. Знала, что он храпит, когда спит на спине. Знала, что он боится темноты, хотя никогда в этом не признается. Знала, как он морщит нос, когда думает. Знала, как он смеётся — по-настоящему, не сдерживаясь. Знала, как он злится — молча, сжав челюсти, с побелевшими костяшками. Знала, как он любит — тихо, без слов, но так, что я чувствовала это каждую минуту.

А потом был тот вечер.

Мы лежали на диване в его квартире — той самой, на Петроградке, с видом на чужой двор. Листали мемы в телефонах и смеялись. Он показывал мне видео с котом, который застрял в коробке. Я показывала ему тред про то, как люди спорят о правильном способе есть пельмени.

Было тепло. Уютно. Обычно.

И тут его телефон пикнул.

Уведомление. Он машинально глянул — и замер.

Я увидела, как изменилось его лицо. Как напряглась челюсть. Как он попытался смахнуть сообщение, но не успел.

Я успела.

«Максик, ты уже приехал? Скучаю. Целую».

Я не помню, что сказала. Помню только, как он смотрел на меня — с ужасом, с виной, с чем-то ещё, чего я не хотела понимать.

А потом мой телефон пикнул.

И я увидела, как он смотрит на меня. Как его взгляд падает на экран. Как он читает.

«Ты уже дома? Я не могу перестать думать о той ночи. Ты был потрясающий».

Мы стояли друг напротив друга. Два телефона. Два уведомления. Две измены.

Я не помню, кто заговорил первым. Помню только, что мы не кричали. Мы просто молчали. А потом он сказал: «Аня, я...» — и я ответила: «Не надо».

Через день он уехал.

Я не плакала. Не кричала. Я просто положила трубку и села на пол в коридоре, и просидела так, наверное, час. А потом встала и пошла рисовать.

Я рисовала его три года. Каждый раз, когда было слишком тихо, слишком больно, слишком пусто — я брала карандаш и рисовала его лицо. Со спины, в профиль, в пол-оборота. Я никогда не рисовала его глаза — боялась, что если нарисую, то он будет смотреть на меня оттуда, с бумаги, и я не выдержу.

А теперь он вернулся.

Я открыла скетчбук на чистой странице. Взяла карандаш.

И вместо того чтобы рисовать, начала писать.

«Правила после разрыва», — вывела я. — «Первое: не отвечать на сообщения после 23:00. Второе: не гуглить его имя. Третье: не рисовать его портрет. Четвёртое: не думать о том, что было бы, если бы он остался».

Я посмотрела на список. Потом зачеркнула четвёртый пункт.

Потому что я думала об этом. Все три года.

Вечером, когда «Тире» почти опустел, я спустилась в кофейню. Марина мыла чашки, Лера сидела за столиком с ноутбуком. Дима — дерзкий автор, чью рукопись Лера редактировала, — стоял рядом с доской меню и что-то дописывал маркером.

— Опять ты в меню лезешь, — сказала Лера, не поднимая глаз.

— Это искусство, — ответил Дима.

— Это самодеятельность.

— Это креатив.

— Это вандализм.

Я машинально отметила, что они ссорятся каждый день — и каждый день одинаково. Как будто ритуал. Как будто им обоим это нравилось.

— Ну, — сказала Лера, когда Дима отошёл. — Рассказывай.

— Нечего рассказывать.

— Ты вылетела из «Абзаца» как ошпаренная. Марина ска-

зала, что вы с новым архитектором смотрели друг на друга, как на войне.

— Мы не смотрели.

— Аня. — Лера закрыла ноутбук. — Я тебя знаю. Ты не просто так бегаешь.

Я вздохнула и села за столик. Марина принесла мне чай — ромашковый, без сахара. Она знала. Она всегда знала.

— Его зовут Макс, — сказала я. — Макс Соколов. Мы были вместе. Тринадцать лет.

Лера присвистнула.

— Тот самый.

— Тот самый.

Пауза. Лера смотрела на меня, и в её глазах было что-то странное. Не удивление. Что-то другое.

— Лера.

— Что?

— Ты знала.

Она не ответила сразу. Отвела взгляд. Поправила блокнот.

— Лера.

— Я не знала, что это он, — сказала она тихо. — Когда я нашла архитектора, я не знала его имени. Только профиль, портфолио. А когда узнала... — Она замолчала.

— Когда узнала — что?

— Я подумала, что ты должна с ним поговорить. По-настоящему. Не бегать три года.

Я смотрела на неё и чувствовала, как внутри поднимается что-то горячее.

— Ты. Ты сделала это специально.

— Я сделала это для тебя.

— Ты не имела права.

— Имела. — Лера подняла глаза. — Потому что ты три года не живёшь, Аня. Ты существуешь. Я смотрю на тебя каждый день и вижу человека, который закопал себя в работу, чтобы не чувствовать. И я устала на это смотреть.

Я хотела ответить что-то колкое. Но не смогла. Потому что она была права.

Марина поставила передо мной чай и тихо сказала:

— Я видела, как он на тебя смотрел. Он не просто так вернулся.

Я посмотрела на неё.

— Это катастрофа.

— Посмотрим, — сказала она с улыбкой.

На стене у выхода висела афиша весеннего фестиваля, который будет организовывать Соня. Я машинально отметила: «Надо будет сходить». А рядом — объявление: «Свадьба на крыше. Организатор — Виола Соловьева». Я фыркнула: «Эта Виола — ходячая катастрофа». Марина усмехнулась: «Ты её знаешь?» — «Пока нет. Но наслышана».

Дима вернулся к столику. Сел напротив Леры. Посмотрел на неё.

— Ты опять всё перечеркнула, — сказал он.

— Я редактор. Я перечёркиваю.

— Ты убиваешь мою душу.

— Я спасаю твой текст.

— Это одно и то же.

Они смотрели друг на друга. И в этом взгляде было что-то — не только раздражение. Что-то ещё. Что-то, чего они сами, может быть, не замечали.

Я отвернулась. Мне было не до них.

Ночью я не могла уснуть. Лежала на диване в студии, смотрела в потолок и слушала, как дождь барабанит по крыше «Тире».

В голове крутился его голос. Его взгляд. Его шрам.

И тот вечер. Телефоны. Уведомления.

Я встала, включила настольную лампу и открыла скетчбук. На чистой странице — той, что после списка правил, — я начала рисовать. Сначала контур, потом линии, потом тени.

Макс. Со спины. Стоит у окна, руки в карманах.

Я не хотела это рисовать. Я просто не могла остановиться.

Я рисовала его час. Может быть, два. Не смотрела на время. Просто водила карандашом по бумаге — линия за линией, тень за тенью. Я знала его спину наизусть. Знала, как он стоит — чуть сутулясь, перенося вес на левую ногу. Знала, как он держит руки в карманах — пальцы сжаты, как будто что-то держат. Знала, как он наклоняет голову — чуть вправо, как будто прислушивается.

На утро рисунок был готов. В правом нижнем углу я машинально поставила три точки — как подпись, как паузу, как обещание, что это не всё.

Я смотрела на него и понимала: три года ничего не изменили. Я всё ещё злилась. Я всё ещё помнила.

И, возможно, я всё ещё любила...

Глава 2. Неотправленное

Я не хотел возвращаться в Питер.

Но когда мне предложили проект — выставка в арт-пространстве «Тире», хорошие деньги, свободный график, — я почему-то согласился. Сказал себе, что это работа. Что мне нужен этот проект для портфолио. Что три года — достаточный срок, чтобы всё забыть.

Я врал себе ровно до того момента, как вошёл в «Абзац» и увидел её.

Она стояла у стойки, в разноцветных кроссовках и фартуке, перепачканном лиловой краской. Волосы собраны в небрежный хвост, на щеке — мазок. Она смотрела на стену так, будто та её лично обидела. На доске меню за её спиной кто-то приписал: «Вопрос. Латте с карамелью. Скоро». Я машинально отметил, что название странное — но цепляет.

И я понял, что не забыл ничего.

— Двойной эспрессо, пожалуйста, — сказал я, потому что не мог сказать «Аня, я скучал».

Она обернулась. И я увидел её глаза — те самые, серо-голубые, с крапинками, как питерское небо. И в них — всё, что я заслужил.

— Какого чёрта, — сказала она.

Я заслужил это. И всё остальное тоже.

Мы стояли друг напротив друга, и я чувствовал, как земля

уходит из-под ног. Она была такой же — упрямой, колючей, красивой. И такой чужой.

— Я могу отказаться, — сказал я.

Это было единственное, что я мог предложить. Уйти. Снова. Потому что я умел только это — уходить.

— Нет, — сказала она. — Контракт уже подписан. Оба.

Она ушла. Я смотрел ей вслед — разноцветные кроссовки, спина прямая, ни разу не обернулась. Марина за стойкой смотрела на меня с любопытством и осуждением одновременно.

— Эспрессо, — напомнил я.

— Уже делаю, — сказала она.

Я сел за столик у окна. Дождь стучал по стеклу, и я смотрел на него, потому что не мог смотреть на лестницу, по которой она поднималась.

Три года.

Я уехал, потому что испугался. Не её — себя. Того, что я чувствовал. Того, что я мог разрушить.

Я всегда был мастером побегов. Когда становилось слишком серьёзно, слишком близко, слишком настояще — я уходил.

Отец ушёл, когда мне было двенадцать. Просто собрал вещи и ушёл. Мать плакала на кухне, а я сидел в своей комнате и рисовал монстров. Зубастых, с рогами, с хвостами. Я рисовал их, потому что не мог нарисовать отца. Не мог нарисовать то, что чувствовал.

Помню, как он стоял в дверях — в пальто, с чемоданом. Я спросил: «Ты вернёшься?» Он сказал: «Конечно». И не вернулся.

Потом, когда мне было двадцать, ушёл мой брат. В армию. На войну. Откуда не возвращаются. Я не хотел, чтобы кто-то уходил от меня. Поэтому уходил сам. Первым. Пока не успели уйти от меня.

Аня была единственной, кто не уходил. Тринадцать лет. Она оставалась, даже когда я был невыносим. Даже когда я молчал неделями.

Это случилось в тот год, когда всё покатилось под откос.

Мы были вместе уже двенадцать лет, и что-то сломалось. Не в один день — постепенно. Мы перестали разговаривать. Перестали смотреть друг на друга. Перестали замечать.

Я уехал в командировку на две недели. Она осталась. И там, в другом городе, в баре отеля, я познакомился с женщиной.

Её звали Света. Она была из тех, кто смеётся громко и не смотрит в сторону. Мы сидели за барной стойкой — я с виски, она с мартини. Говорили о ерунде. О том, что в этом городе слишком много мостов. О том, что в отелях всегда пахнет одинаково. О том, что никто не знает, зачем мы здесь.

Я не собирался. Правда не собирался. Но когда она сказала: «Пойдём ко мне», — я встал. И пошёл.

В номере было темно. Она включила лампу у кровати. Сказала: «Ты красивый». Я сказал: «Спасибо». И потом всё

случилось. Быстро. Неловко. Без слов.

После — я лежал на спине и смотрел в потолок. Она спала рядом. Дышала ровно. А я думал: «Что я делаю?»

Я не мог ответить. Потому что не знал. Потому что не понимал, когда всё пошло не так. Потому что не мог признаться себе, что мы уже давно не те, кем были.

Утром я ушёл. Не попрощался. Просто оделся и вышел. Она не проснулась.

Я шёл по улице и думал: «Я расскажу Ане. Вернусь — и расскажу». Но не рассказал.

Потому что через день узнал, что она сделала то же самое.

Тот вечер я помню в деталях.

Мы лежали на диване. Аня показывала мне видео с котом — она всегда показывала мне котов, когда хотела, чтобы я улыбнулся. Я показывал ей мемы про архитекторов. Она смеялась.

А потом мой телефон пикнул.

Я даже не подумал, что это может быть что-то опасное. Просто глянул. И замер.

«Максик, ты уже приехал? Скучаю. Целу-у-ую».

Я попытался смахнуть. Не успел. Аня уже смотрела на экран. И её лицо — её лицо менялось медленно, как будто она читала не сообщение, а приговор.

А потом её телефон пикнул.

И я увидел, как она смотрит на меня. Как её взгляд падает на мой экран. Как она читает.

«Ты уже дома? Я не могу перестать думать о той ночи. Ты был потрясающий».

Мы стояли друг напротив друга. Два телефона. Два уведомления. Две измены.

Я до сих пор чувствую запах её духов в тот вечер. Что-то цитрусовое, с горькой ноткой. Я до сих пор помню, как она смотрела на меня — не с яростью, а с чем-то хуже. С разочарованием.

— Аня, я...

— Не надо.

Через день я уехал...

Помню, как я стоял в аэропорту. С чемоданом. С билетом в кармане.

Я приехал за два часа до рейса. Не потому что боялся опоздать — потому что не мог оставаться в квартире. Стены давили. Воздух был слишком тяжёлым. Я взял чемодан и вышел.

В аэропорту было людно. Люди шли — с детьми, с сумками, с цветами. Кто-то смеялся. Кто-то плакал. Кто-то просто стоял и смотрел на табло.

Я сел у выхода на посадку. Поставил чемодан рядом. Посмотрел на табло. Рейс задерживали на сорок минут.

Я достал телефон. Нашёл её номер. Написал: «Я в аэропорту».

Стёр.

Написал: «Прости».

Стёр.

Написал: «Я не хочу уезжать».

Не отправил.

Я сидел и смотрел на людей. На женщину с ребёнком. На мужчину с огромным рюкзаком. На старика с тростью. На девушку с наушниками — она танцевала, пока ждала.

И я думал: «А если она придёт?»

Я не знал, что она была там. Не знал, что она стояла у выхода на посадку — в другом конце зала — с сумкой. С сердцем в горле.

Я узнал об этом только вчера. От Леры.

И это знание — оно было хуже всего. Хуже измены. Хуже молчания. Хуже трёх лет пустоты. Потому что оно означало: она боролась. А я — я даже не знал.

Я стоял в аэропорту и думал: «Может быть, она придёт». Но не верил. Не позволял себе верить. Потому что если бы поверил — остался бы. А я не умел оставаться.

Объявили посадку. Я встал. Взял чемодан. Пошёл к выходу.

На секунду остановился. Обернулся. Посмотрел на зал.

Никого.

Я сел в самолёт. Пристегнул ремень. Посмотрел в окно. Питер уплывал вниз — серый, мокрый, чужой.

И я подумал: «Я больше никогда не вернусь».

Я ошибался.

— Ваш эспрессо.

Марина поставила чашку на столик. Я поднял глаза.

— Спасибо.

Она не ушла. Стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня.

— Ты её сильно обидел, — сказала она.

— Знаю.

— Она три года не подпускала к себе никого.

Я опустил глаза.

— Знаю.

— Ладно. — Марина вздохнула. — Пей кофе. Потом иди работай. И не смей снова её бросать. Понял?

Я кивнул.

Она ушла. Я сделал глоток эспрессо — горького, обжигающего — и посмотрел на лестницу.

Мне нужно было подняться на второй этаж. Начать работать. Сделать то, зачем я приехал.

Но сначала — сначала я должен был найти способ сказать ей то, что не сказал три года назад.

Вечером, когда «Тире» почти опустел, я стоял у окна на втором этаже. Свет в её студии горел до поздней ночи. Я видел, как она ходит там — туда-сюда, останавливается, что-то рисует.

Я не должен был смотреть. Но я смотрел.

В какой-то момент она вышла из студии — с кружкой в руке, в наушниках. Прошла мимо, не заметив меня. Я стоял в тени, у стены, и смотрел, как она спускается по лестнице.

На стене галереи, у самого выхода, висела её картина. Я не видел её раньше — должно быть, она повесила её недавно. Лиловый фон, силуэт человека у окна. Со спины.

Я подошёл ближе. На табличке было написано: «Многоточие. 2026».

Я стоял и смотрел на эту картину, наверное, минуту. Потом достал телефон. Нашёл в галерее её номер — он был в контактах «Тире», в общем чате резидентов.

Написал: «Я не должен был уезжать. Прости».

Не отправил.

Стёр.

Написал снова: «Я хочу всё исправить».

Стёр.

Написал: «Я скучал».

Стёр.

Я стоял с телефоном в руке, смотрел на её картину и понимал: три года ничего не изменили. Я всё ещё был трусом.

Но, возможно, на этот раз я мог попробовать быть кем-то другим.

Я открыл скетчбук — тот, что всегда носил с собой, — вырвал страницу, написал от руки:

«Я знаю, что ты меня ненавидишь. Я знаю, что заслужил это. Но я хочу, чтобы ты знала: тот вечер я помню каждый день. И жалею о нём каждый день. Не за измену — за то, что не сказал тебе правду раньше. За то, что позволил нам обоим дойти до этого. Прости. Макс».

Я сложил лист вдвое. Подошёл к её студии — дверь была приоткрыта, свет горел. Она, должно быть, спустилась в кофейню.

Я положил записку на её стол. Рядом со скетчбуком, на котором было написано: «Правила после разрыва».

Я не читал. Я не имел права.

Я вышел. Спустился по лестнице. Прошёл мимо Марины, которая смотрела на меня с пониманием. Вышел на улицу, под дождь.

И только тогда понял, что руки трясутся. Не от холода. Не от дождя. От того, что я только что сделал...

Ночью я сидел в своей квартире и смотрел на телефон.

Она не ответила. Не написала. Не позвонила.

Я ждал. Как дурак. Смотрел на экран, как будто он мог что-то изменить. Как будто он мог вернуть время назад.

Я думал о том, что скажу завтра. Когда увижу её. Как объясню. Как попрошу прощения. Как скажу, что не хочу снова уходить.

Я придумал сто вариантов. Ни один не был правильным.

Потому что правильных слов не было. Были только действия. А я не умел действовать. Я умел только убегать.

Я лёг спать. И всю ночь видел её лицо — то самое, из того вечера. Разочарованное. Уставшее. Чужое.

А утром я проснулся с мыслью: «Я не уеду. Я останусь. Я попробую».

И это было самое страшное, что я мог себе сказать...

Глава 3. Из-за стойки

Я наблюдала за ними из-за стойки.

Не специально. Просто так получалось. Они приходили в «Абзац» каждый день — она за латте, он за эспрессо. Садились за разные столики. Смотрели друг на друга. Отводили глаза.

Я знала, что это. Я видела это раньше. Не с ними — с другими. С теми, кто приходил в «Абзац» и думал, что никто не замечает.

Я замечала всё. Это была моя работа. Стоять за стойкой. Наблюдать. Наливать кофе. Слушать.

Она пришла первой. Села у окна. Заказала латте с лавандой — без сахара, как всегда. Смотрела в телефон. Не читала — просто держала в руках, как будто он мог её защитить.

Он пришёл через десять минут. Остановился в дверях. Посмотрел на неё. Потом на меня. Потом снова на неё.

— Двойной эспрессо, — сказал он.

— Ей — латте, вам — эспрессо, — сказала я. — Как обычно.

Он посмотрел на меня.

— Как обычно?

— Вы приходите каждый день. В одно и то же время. Заказываете одно и то же. — Я пожала плечами. — Я наблюдательная.

Он ничего не сказал. Сел за столик напротив неё. Не рядом — напротив. Как будто между ними была стена, которую ни один не решался сломать.

Я поставила перед ним эспрессо. Он взял чашку. Сделал глоток. Посмотрел на неё. Она посмотрела на него. Оба отвели глаза.

Я вернулась за стойку. И подумала: «Господи, какие же вы оба идиоты».

Днём зашла старушка.

Я знала её — она приходила каждую неделю. Всегда в одно и то же время. Всегда заказывала чай с бергамотом и один эклер. Садилась у окна. Смотрела на улицу. Уходила через час.

Я налила чай. Положила эклер на тарелку. Принесла.

— Спасибо, Мариночка, — сказала она. — Ты всегда знаешь, что мне нужно.

— Это моя работа.

— Это не работа. — Она покачала головой. — Это забота.

Она замолчала. Посмотрела в окно. Я хотела уйти, но что-то меня остановило.

— Вы кого-то ждёте? — спросила я.

— Нет. — Она улыбнулась. — Я уже никого не жду. Мужа нет. Дети далеко. Я просто... смотрю.

— На что?

— На людей. На то, как они спешат. Как держатся за руки. Как ссорятся. Как мирятся. — Она вздохнула. — Я смотрю

и вспоминаю.

— Что?

— Всё. — Она отпила чай. — Я прожила долгую жизнь, Мариночка. И знаешь, что я поняла? Люди не меняются. Они всё так же боятся. Всё так же любят. Всё так же глупят. Просто лица другие.

Я стояла и смотрела на неё. На её морщины. На её руки, которые держали чашку. На её глаза, которые видели слишком много.

— А вы... — я помолчала. — Вы не жалеете?

— О чём?

— О том, что не сказали. Не сделали. Не успели.

Она посмотрела на меня. Долго.

— Жалею, — сказала она. — Каждый день. Но не о том, что не сделала. А о том, что боялась.

— Чего?

— Того же, чего и все. — Она улыбнулась. — Что будет больно. Что не получится. Что меня не поймут.

— И что вы сделали?

— Ничего. — Она пожала плечами. — Просто жила. Смотрела. Ждала.

— И?

— И теперь сижу здесь. Пью чай. Смотрю на людей.

Я не знала, что сказать. Поэтому просто стояла. И думала: «Господи, как же это страшно. Прожить жизнь и не сказать того, что хотела».

Она ушла через час. Оставила на столе деньги и записку: «Спасибо, что выслушала. Ты хорошая девочка. Не бойся».

Я прочитала записку. Потом ещё раз. Потом положила в карман.

И подумала: «Может быть, это и есть ответ. Не бойся».

В «Абзац» зашла женщина. Высокая, в красном пальто, с папкой под мышкой. Она остановилась в дверях, огляделась — и её взгляд остановился на Ане.

Я увидела, как Аня напряглась. Как её пальцы сжали чашку. Как она медленно подняла глаза.

— Рита, — сказала она.

Женщина улыбнулась. Широко, тепло — но в этой улыбке было что-то ещё. Что-то, что мне не понравилось.

— Аня. — Она подошла к столику. — Можно?

Аня не ответила. Женщина села напротив — без приглашения.

— Я слышала, ты делаешь «Точки опоры», — сказала она.

— Делаю.

— Я тоже.

Пауза. Аня смотрела на неё. Женщина — на Аню.

— Я знаю, — сказала Аня.

— Тогда ты знаешь, что мы обе подали на грант.

— Знаю.

— Я не хочу с тобой воевать, Аня. — Женщина наклонилась вперёд. — Правда. Я хочу, чтобы ты знала: это не личное.

— А что это?

— Это работа. — Женщина пожала плечами. — Ты была быстрее два года назад. Я была быстрее год назад. Сейчас — кто быстрее.

— Ты увела у меня заказ.

— Я выиграла тендер. Это не одно и то же.

Аня молчала. Я видела, как её руки дрожат. Как она сжимает чашку. Как она пытается не показать, что ей больно.

— Я не буду извиняться, — сказала женщина. — Но я хочу, чтобы ты знала: я уважаю тебя. Ты хороший куратор. Может быть, лучший в городе. Но грант один. И я тоже хочу его получить.

Она встала. Положила на стол визитку.

— Если передумаешь — позвони. Может быть, мы найдём способ... сотрудничать.

Она ушла. Аня осталась сидеть. Смотрела на визитку. Не брала.

Я подошла. Поставила перед ней свежий латте.

— За счёт заведения, — сказала я.

Она подняла глаза.

— Спасибо.

— Она... — я поискала слово. — Она неприятная.

— Она права. — Аня покачала головой. — Она всегда права. Это самое неприятное.

Я не знала, что сказать. Поэтому просто стояла рядом. Иногда это всё, что нужно.

Он допил эспрессо. Встал. Подошёл к стойке.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что.

Он помолчал. Потом сказал:

— Она... она часто здесь бывает?

— Каждый день.

— Одна?

— Одна.

Он кивнул. Посмотрел на неё — она всё ещё сидела у окна, смотрела в телефон. Потом на меня.

— Спасибо, — сказал он снова.

И ушёл.

Я смотрела ему вслед. Потом посмотрела на неё. Она подняла глаза — только когда дверь закрылась. И я увидела, как её лицо меняется. Как будто она ждала, что он обернётся. И он не обернулся.

Я вздохнула. И пошла к ней.

— Ещё латте? — спросила я.

— Да. Пожалуйста.

Я налила. Поставила перед ней. И сказала:

— Он хороший.

Она подняла глаза.

— Что?

— Он хороший. Я вижу.

— Я знаю.

— Тогда почему вы оба ведёте себя как на войне?

Она молчала. Долго. Потом сказала:

— Потому что мы оба проиграли.

Я не спросила, что она имеет в виду. Не моё дело.

Но я подумала: «Может быть, у них получится. Может быть, хоть у кого-то получится»...

Глава 4. Концепция

Записка лежала на моём столе.

Я нашла её утром — сложенный вдвое лист, вырванный из скетчбука. Почерк был его. Я узнала бы эти буквы где угодно: острые, быстрые, с наклоном вправо.

Я прочитала её три раза. Потом ещё три. Потом села на стул и уставилась в стену.

«Тот вечер я помню каждый день. И жалею о нём каждый день».

Я не знала, что с этим делать. Злиться? Плакать? Порвать записку и выбросить в окно? Я сделала ни то, ни другое, ни третье. Я просто положила её в скетчбук — между страниц — и закрыла.

Потом взяла телефон. Написала Лере: «Он оставил записку».

Она ответила через секунду: «И?»

Я: «И я не знаю, что делать».

Она: «Поговори с ним. По-настоящему».

Я: «Мы работаем вместе. Этого достаточно».

Она: «Это не работа, Аня. Это твоя жизнь».

Я не ответила. Потому что не знала, что сказать.

В десять утра мы встретились в галерее. Макс уже был там — стоял у стены, которую я вчера красила, с папкой в руках. На нём была белая рубашка, закатанные рукава и тот

же перстень. Он смотрел на лиловую стену так, будто видел в ней что-то, чего не видела я.

— Доброе утро, — сказал он, не оборачиваясь.

— Доброе.

Я остановилась в двух шагах. Между нами было пространство — ровно столько, чтобы не касаться, но достаточно близко, чтобы чувствовать.

— Я посмотрел твои эскизы, — сказал он, открывая папку. — «Точки опоры». Пять художников, пять историй. Ты хочешь, чтобы пространство было... — он замялся, подбирая слово, — ...живым.

— Да.

— Что это значит?

— Это значит, что люди должны не просто смотреть на картины, а проходить сквозь них. Чувствовать. — Я подошла ближе, ткнула пальцем в его чертёж. — Вот здесь ты предлагаешь прямые линии. Ровные залы. Всё по полочкам. Это скучно.

— Это функционально.

— Это мёртво.

Он поднял бровь.

— Мёртво?

— Да. — Я чувствовала, как закипаю. — Люди приходят на выставку не для того, чтобы смотреть на ровные стены. Они приходят, чтобы что-то почувствовать. А твои прямые линии ничего не чувствуют.

— А твои «живые» стены — они что, чувствуют?

— Они дышат.

— Стены не дышат, Аня.

— Ты не понимаешь.

— Объясни.

Я выдохнула. Потом подошла к его чертежу, взяла карандаш и начала рисовать поверх. Кривые, изгибы, проходы, которые вели не туда, куда ожидал.

— Вот. — Я отступила. — Здесь человек входит и не знает, что его ждёт. Он идёт по коридору, а стены сужаются. Потом — раз — и он оказывается в большом зале, где висит главная картина. Он не готов. Он не ожидал. И именно поэтому он чувствует.

Макс смотрел на мой рисунок. Долго. Потом сказал:

— Это опасно.

— Что?

— Твоя концепция. Люди не любят, когда их заставляют чувствовать. Они хотят комфорта.

— Не все.

— Большинство.

— Значит, мы делаем не для большинства.

Он поднял глаза. И я увидела в них что-то — не раздражение, не несогласие. Что-то другое. Уважение? Удивление?

— Ты изменилась, — сказал он тихо.

— Что?

— Ты раньше не была такой... — он поискал слово,

— ...упрямой.

— Я всегда была упрямой.

— Не так. — Он покачал головой. — Раньше ты рисовала, чтобы понравиться. Теперь ты рисуешь, чтобы...

— Чтобы что?

— Чтобы тебя услышали.

Я замолчала. Потому что он был прав. И потому что это было слишком точное наблюдение для человека, который не видел меня три года.

— Расскажи мне о художниках, — сказал он.

— Что?

— О тех, с кем ты работаешь. Ты говорила, их пятеро. Я знаю только имена из списка.

Я помолчала. Потом сказала:

— Катя Мороз. Фотограф. Двадцать шесть. Снимает руки. Говорит, что руки — это единственное, что не врёт.

— Руки?

— Да. Она фотографирует, как люди держатся. За что держатся. За кого.

Он кивнул.

— Дальше.

— Илья Ветров. Скульптор. Тридцать два. Работает с пустотой. Говорит, что опора — это не то, что снаружи. Это то, что внутри. И иногда там пусто.

— Это... — он поискал слово. — Глубоко.

— Это честно.

— А третья?

— Женя Лебедева. Художница. Двадцать девять. Она моя соседка по студии. Пишет море. Говорит, что когда всё рушится — идёт к воде. И понимает: всё проходит.

Макс молчал. Долго. Потом сказал:

— Ты знаешь их.

— Да.

— Не просто имена.

— Нет.

— Это хорошо. — Он кивнул. — Это то, что нужно выставке. Не просто пять работ. Пять людей. Пять историй.

— Инга Аркадьевна сказала то же самое.

— Умная женщина.

— Деловая.

— Это одно и то же.

Мы замолчали. Дождь стучал по крыше. В галерее было тихо.

Мы спорили ещё час. О концепции, о материалах, о том, где ставить свет. Он был за порядок, я — за хаос. Он говорил «функциональность», я говорила «эмоция». Он чертил прямые, я рисовала кривые.

В какой-то момент я поймала себя на том, что смотрю на его руки. На то, как он держит карандаш. На его пальцы — длинные, с мозолями от работы. На перстень — тяжёлый, серебряный, с печаткой.

— Ты всегда носишь его? — спросила я.

Он посмотрел на кольцо.

— Да.

— Почему?

— Отец подарил. На восемнадцатилетие. Сказал: «Носи. Это не просто кольцо. Это память».

— О чём?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Может быть, о том, что он ушёл. Может быть, о том, что вернулся. Может быть, о том, что больше не вернётся.

Я молчала.

— А ты? — спросил он. — Ты всегда носишь эти кроссовки?

Я посмотрела на свои ноги. Разноцветные, потёртые.

— Да.

— Почему?

— Потому что они удобные.

— Аня.

— Потому что они были на мне в тот день. Когда мы познакомились. В пятом классе.

Он смотрел на меня. Долго.

— Ты помнишь?

— Помню.

— Я тоже.

Мы замолчали. Дождь стучал по крыше. В галерее было тихо — только мы, планы и лиловые занавеси, которые ещё не повесили.

К концу часа мы оба выдохлись. Я сидела на полу, прислонившись к стене, он стоял у окна, глядя на дождь.

— Знаешь, что самое смешное? — сказала я.

— Что?

— Мы оба правы.

Он обернулся.

— То есть?

— Твои прямые линии — это структура. Без них мои кривые превратятся в кашу. А мои кривые — это жизнь. Без них твои прямые — это склад.

Он смотрел на меня. Потом улыбнулся — впервые за всё утро.

— Компромисс?

— Компромисс.

Я встала, отряхнулась и протянула ему руку.

— Работаем вместе. По-настоящему. Без прошлого.

Он посмотрел на мою руку. Потом взял её. Его пальцы были тёплыми. И сухими. И я почувствовала, как что-то внутри меня сжимается — не от боли, а от чего-то другого.

— Без прошлого, — повторил он.

Мы стояли, держась за руки, на секунду дольше, чем нужно. Потом отпустили. Одновременно. Как будто оба поняли, что если продержим ещё секунду — не отпустим вообще.

— Ладно, — сказала я, отворачиваясь. — Я принесу эскизы. Ты посмотришь. Завтра.

— Завтра.

Я пошла к лестнице. На середине пути обернулась. Он всё ещё стоял у окна, смотрел на мой рисунок — тот, что я нарисовала поверх его чертежа.

И я подумала: может быть, мы справимся. Может быть, это сработает. Может быть...

Вечером я зашла в «Абзац». Марина за стойкой протирала чашки. Дима сидел за столиком, что-то печатал. Лера стояла рядом, с блокнотом.

— Ну? — спросила она, увидев меня.

— Мы работаем вместе.

— И?

— И всё. Работаем.

— Аня.

— Что?

— Ты улыбаешься.

Я посмотрела на своё отражение в витрине. И правда — улыбалась. Чуть-чуть. Уголками губ.

— Это не то, что ты думаешь.

— Это именно то, что я думаю, — сказала Лера.

Марина поставила передо мной латте — без сахара, с лавандой. И тихо сказала:

— Он хорошо на тебя влияет.

— Он бесит меня.

— Это одно и то же.

Я хотела возразить. Но не смогла. Потому что где-то в глубине души, в самом тёмном углу, я понимала, что она права.

Дима поднял голову от ноутбука.

— Аня, — сказал он. — Ты не знаешь, где Лера хранит мою рукопись?

— Не знаю.

— Она её спрятала.

— Я её отредактировала, — сказала Лера, не поднимая глаз.

— Ты её убила.

— Я её спасла.

— От чего?

— От тебя.

Они снова ссорились. Я смотрела на них и думала: может быть, это и есть любовь. Не та, что в кино. Не та, что с цветами и признаниями. А та, что в ссорах. В спорах. В том, чтобы быть рядом, даже когда бесишься.

Может быть.

Ночью я сидела в студии и смотрела на записку. Я всё ещё не знала, что с ней делать. Но теперь, после сегодняшнего дня, после спора, после рукопожатия, я поняла: это не конец. Это начало.

Я открыла скетчбук. На чистой странице — после «Правил» — я начала рисовать. Не его. Не себя. А зал. Тот самый — с кривыми стенами, с тёмным коридором, с лиловыми занавесями.

Я рисовала будущее. И впервые за три года мне не было страшно.

Я рисовала долго. Часа два, может, три. Свет из окна давно погас, я включила лампу. Карандаш скрипел по бумаге. Я не замечала времени.

Когда рисунок был готов, я отложила карандаш. Посмотрела на него. И поняла: это не просто эскиз. Это ответ. Максу. Себе. Всему, что было.

Я перевернула страницу. На чистом листе написала:

«Правила после разрыва. Новые».

«Первое: не бояться. Второе: не закрывать двери. Третье: говорить то, что чувствую. Четвёртое: ...»

Я остановилась. Посмотрела на четвёртый пункт. Потом улыбнулась и дописала:

«Четвёртое: позволить себе быть счастливой».

Я закрыла скетчбук. Посмотрела в окно. Дождь кончился. Небо было чистым. Звёзды — редкие, питерские — проглядывали сквозь облака.

И где-то глубоко, в самом тёмном углу, что-то шевельнулось. Не страх. Не боль. Что-то другое. Что-то, что я не чувствовала три года.

Надежда...

Глава 5. Перстень

Перстень был тяжёлым.

Я крутил его на пальце, сидя в своей временной квартире — маленькой студии на Петроградской, с видом на чужой двор. Отец подарил мне его на восемнадцатилетие. Сказал: «Носи. Это не просто кольцо. Это память».

Память о чём — он не уточнил. Может быть, о том, что он ушёл, когда мне было двенадцать. Может быть, о том, что он вернулся через год — не извиниться, а забрать документы. Может быть, о том, что он больше не вернулся.

Я надел перстень, когда мне было восемнадцать. И с тех пор не снимал.

Сегодня я смотрел на него и думал: а что, если бы я тогда остался? Не уехал? Не сбежал?

Тот вечер я помню в деталях.

Мы лежали на диване. Аня показывала мне видео с котом — она всегда показывала мне котов, когда хотела, чтобы я улыбнулся. Я показывал ей мемы про архитекторов. Она смеялась.

А потом мой телефон пикнул.

Я даже не подумал, что это может быть что-то опасное. Просто глянул. И замер.

«Максик, ты уже приехал? Скучаю. Целу-у-ую».

Я попытался смахнуть. Не успел. Аня уже смотрела на

экран. И её лицо — её лицо менялось медленно, как будто она читала не сообщение, а приговор.

А потом её телефон пикнул.

И я увидел, как она смотрит на меня. Как её взгляд падает на мой экран. Как она читает.

«Ты уже дома? Я не могу перестать думать о той ночи. Ты был потрясающий».

Мы стояли друг напротив друга. Два телефона. Два уведомления. Две измены.

Я не знаю, что было хуже — то, что я изменил, или то, что она сделала то же самое. Может быть, то, что мы оба молчали об этом. Может быть, то, что мы оба искали чего-то, чего не хватало. Может быть, то, что мы оба знали, что это конец.

— Аня, я...

— Не надо.

Она не кричала. Не плакала. Она просто смотрела на меня — и в её глазах было что-то хуже ярости. Разочарование.

Я уехал через день. Не потому что хотел. Потому что не мог остаться. Не мог смотреть ей в глаза. Не мог признаться, что я — тот, кто разрушил всё.

Я всегда уходил. Отец ушёл. Брат ушёл. Я ушёл. Это было единственное, что я умел делать хорошо.

— Ты опять крутишь перстень.

Голос Марины вывел меня из транса. Я сидел в «Абзаце» — уже второй раз за день — и смотрел в чашку.

— Привычка.

— Плохая.

— Знаю.

Она села напротив. В руках у неё была чашка с чаем — ромашковым, без сахара. Как у Ани.

— Ты знаешь, что она три года ни с кем не встречалась? — спросила Марина.

— Ты уже говорила.

— А ты?

— Что я?

— Ты с кем-нибудь был? За эти три года?

Я помолчал. Потом сказал:

— Было. Не то чтобы серьёзно.

— А она?

— Что она?

— Она была? У неё кто-то был?

Я посмотрел на неё.

— Ты же её подруга. Ты должна знать.

— Я знаю. Но я хочу услышать, что ты думаешь.

Я отставил чашку.

— Я думаю, что если бы у неё кто-то был, она бы не смотрела на меня так. Как будто я — единственный человек в комнате.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.